

ФРАНСУАЗА САГАН

ФРАНСУАЗА САГАН

Немного солнца в холодной воде



МОСКВА
2016

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
С13

Françoise Sagan
UN PEU DE SOLEI DANS L'EAU FROIDE

© Editions Stock, 2010. The First edition of this work was published
in 1969 by Editions Flammarion.

Серия «Pocket book»

Оформление серии «Pocket book» *А. Саукова*

В оформлении обложки использована репродукция картины
художника А. Модильяни «Портрет женщины» (1917—1918)

Оформление серии «100 главных книг» *Н. Ярусовой*

Саган, Франсуаза.

С13 Немного солнца в холодной воде : [роман] / Франсуаза Саган ; [пер. с фр. Н. И. Немчиновой]. — Москва : Эксмо, 2016. — 224 с.

ISBN 978-5-699-52084-8 (Pocket book)

ISBN 978-5-699-91271-1 (100 ГК)

Один из лучших психологических романов Франсуазы Саган.

Встреча с Натали, ее любовь исцелили молодого журналиста Жюля, впавшего в депрессию. Вихрь страсти закружил обоих, но его вернул к прежней жизни, а ее погубил.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-699-52084-8
(Pocket book)
ISBN 978-5-699-91271-1
(100 ГК)

© Немчинова Н., перевод
на русский язык, 2016
© Издание на русском языке,
оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2016

Моей сестре

И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю,
И скорбь моя подобна солнцу
в холодной воде.

Поль Элюар

Часть I

ПАРИЖ

Глава 1

Теперь это случалось с ним чуть не каждый день. Если только накануне он не напивался до того, что утром вставал с постели, словно в зыбком тумане, шел под душ, бессознательно, машинально одевался, и сама усталость освобождала его тогда от бремени собственного «я». Но чаще бывало другое, мучительное: он просыпался на рассвете, и сердце колотилось от страха, от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью, и он ждал: вот-вот речитативом заговорят в его мозгу тревоги, неудачи, голгофа начавшегося дня. Сердце колотилось; он пытался заснуть, пробовал забыться. Тщетно. Тогда он садился на постели, хватал не глядя стоявшую под рукой бутылку минеральной воды, отпивал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости — такой же мерз-

кой, какой представлялась ему собственная жизнь в последние три месяца. «Да что же это со мной? Что?» — спрашивал он себя с отчаянием и яростью, так как был самолюбив. И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей нервную депрессию, подобная слабость казалась ему оскорбительной, как пощечина. С юных лет он не слишком задумывался над самим собой, для него вполне достаточно было внешней стороны жизни, а когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким болезненным, немощным, раздражительным существом он стал, то почувствовал суеверный ужас. Неужели этот тридцатипятилетний мужчина, который чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, неужели это и есть он? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, полной веселья, смеха и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно и он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал все с себя, но так и не мог укротить внутренней дрожи, чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием.

Конечно, ничто не мешало ему повернуться к Элоизе и заняться любовью. Но он не мог. Три ме-

сяца он не прикасался к ней, три месяца об этом и речи не было. Красавица Элоиза!.. Любопытно, как она с этим мирится... будто чувствует в нем что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости угнетала больше, чем ее гнев или возможная измена. Чего бы он не дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела, неистовствовать, забыть — только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отравили его от Элоизы. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных и нелепых, оказывался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой.

Впрочем, он преувеличивал. Как-то раз, три недели назад, после знаменитой вечеринки у Жана, он овладел ею. Но теперь это уже забылось. Он слишком много выпил в тот вечер — на что были свои причины, — ему смутно помнилась лишь грубая схватка на широкой постели и приятная мысль при пробуждении, что очко выиграно. Словно краткий миг наслаждения мог быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Конечно, не бог весть что. Жизнь, которая прежде была так щедра к нему —

по крайней мере он так считал, и это было одной из причин его успехов, — и вдруг отступила от него, как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, к которой оно так долго ластилось. Представив себя в образе одинокого старика утеса, он даже рассмеялся коротким, горьким смешком. Но ведь действительно, думалось ему, жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло, а исчезало куда-то. Сколько бы он ни твердил себе, сколько ни убеждал себя, что еще и сейчас у него есть много завидного: выигрышная внешность, интересная профессия, успехи в разных областях, — все эти утешения казались ему столь же пустыми, столь же ничемными, как слова церковных акафистов... Мертвые, мертвые слова.

Вдобавок вечеринка у Жана обнаружила, сколько отвратительной физиологичности было в его переживаниях. Он на минуту вышел из гостиной и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. Тут у него выскользнуло из рук мыло и упало на пол, под умывальник; он нагнулся, хотел поднять. Мыло лежало под водопроводной трубой, розовый брусочек как будто прятался там; и вдруг эта розовость показалась ему непристойной, он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его ру-

ке. Жиль застыл на месте от ужаса. А когда распрямился, весь в поту, и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрешенное любопытство, и чувство страха встало на свое место. Он вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина, схватил розовый обмылок. Но тотчас же швырнул его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой сучок; целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не «нынешние времена», а нечто совсем другое. Вот тогда-то он и признал, что «это» в самом деле случилось: он болен.

Но что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, с благодушным цинизмом, человек, пришедший к такому решению самым естественным путем — инстинктивно — и вдруг оставшийся с пустыми руками, да еще в Париже, в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году нашей эры? Обратиться к психиатру представлялось ему унижительным, и он решительно отверг эту мысль — из гордости, которую склонен был считать одним из лучших свойств своей натуры. Значит, оставалось только одно — молчать. И продолжать это существование. Вернее,

попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, он надеялся, что все это ненадолго. Время, единственный властитель, которого он признавал, унесло его любовные утехы, его радости, горести, даже некоторые взгляды, и не было оснований сомневаться, что оно справится и с «этой штукой». Но «эта штука» была чем-то безликим, безымянным, он не знал, что это, в сущности, такое. А ведь, может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознал.

Глава 2

Он работал в международном отделе газеты и в этот день все утро провел в редакции. В мире происходили кровавые, невысказанные события, пробуждавшие у его собратьев щекощущее чувство ужаса, и это раздражало его. Не так давно, всего три месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы свое негодование, а теперь не мог. Ему было даже чуть досадно оттого, что этими событиями, происшедшими на Среднем Востоке, или в США, или еще где-то, как бы пытались отвлечь его внимание от подлинной драмы — его собственной. Планета Земля вращалась в хаосе — у кого теперь могло возникнуть желание или нашлось бы время поинтересоваться его жалкими проблемами? Но разве

мало часов потратил он сам, выслушивая мрачные исповеди и признания неудачников? Разве мало он совершил пресловутых подвигов спасения? И что же? Вокруг ходят люди с блестящими от возбуждения глазами, и только он один вдруг растерялся, точно заблудившийся пес, стал таким же эгоистом, как иные старики, таким же никчемным, как они. Внезапно у него возникло желание подняться этажом выше, к Жану, и поговорить с ним. Ему казалось, что из всех его знакомых только Жан способен отвлечься от своих забот и посочувствовать ему.

В тридцать пять лет Жиль Лантье все еще был красив. «Все еще» — потому что в двадцать он отличался редкостной красотой, которую, впрочем, никогда не сознавал, хотя и весело пользовался ею, пленяя и женщин, и мужчин (последних — бескорыстно). Теперь, пятнадцать лет спустя, он похудел, приобрел более мужественный облик, но в его походке, в движениях осталось что-то от победоносной юности. У Жана, который в прежние времена просто обожал его, хотя никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошел Жиль. Эта худоба, эти синие глаза, эти черные, слишком длинные волосы, эта нервозность... Право, он становился все более и более нервным, и другу следовало бы им заняться. Но он все не мог решиться: Жиль так

долго был для него символом счастья и беззаботности, что он не решался заговорить об этом, как не решаясь посягнуть на давно и прочно сложившийся образ... Что, если он рассыплется прахом... и Жану, который с незапамятных времен был круглым, лысым, задерганным жизнью, придется убедиться, что на свете не существует прирожденных счастливых? Жан уже утратил немало иллюзий, но вот с этой иллюзией, быть может, ввиду ее наивности, ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул, и Жиль осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, громоздившихся на письменных столах, на полу, на камине. Жан протянул ему сигарету. Из окна открывался вид на серые и голубые крыши, на царство водосточных желобов, труб и телевизионных антенн, еще недавно восхищавшее Жюль. Но теперь он даже не посмотрел в ту сторону.

— Ну как? — сказал Жан. — Как тебе нравится, а?

— Ты это об убийстве? Да, можно сказать, ловко состряпали!

И Жиль замолчал, опустив глаза. Прошла минута, Жан, желая оттянуть объяснение, приводил в порядок папки на столе и при этом насвистывал, как будто целая минута молчания была естественной при их встречах. Наконец он решился — при-

родная доброта возобладала надо всем остальным, он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним Жиль в те дни, когда от него, Жана, ушла жена, и вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже два месяца с Жилем творится что-то неладное — Жан это чувствовал, но все два месяца избегал разговоров по душам. Нечего сказать, хорош друг! Но теперь, когда Жиль предоставлял ему право, вернее, откровенно вынуждал его начать атаку, он не мог удержаться от маленькой инсценировки. Все мы таковы после тридцати: любое событие, затрагивает ли оно весь мир или только мир наших чувств, требует некоторой театрализации, для того чтобы оно пошло нам на пользу или дошло до нас. И вот Жан раздавил в пепельнице недокуренную сигарету, сел и скрестил на груди руки. Пристально посмотрев Жилю в лицо, он откашлялся и сказал:

— Ну как?

— Что как? — отозвался Жиль.

Ему хотелось уйти, но он уже знал, что не уйдет, что он сам вынудил Жана начать расспросы и, хуже того: у него даже стало легче на душе.

— Ну как? Не клеятся дела?

— Не клеятся.

— Уже месяца два? Верно?

— Три месяца.

Жан определил срок наугад, просто хотел по-

казать, что душевное состояние Жюль не осталось незамеченным, и если он до сих пор об этом не заговаривал, то лишь из деликатности. Но Жюль тотчас подумал: «Строит из себя пронизательного человека, хитрюга, а сам на целый месяц ошибся...» Но вслух сказал:

— Да, уже три месяца мне скверно.

— Конкретные причины? — спросил Жан и резким движением поднес зажигалку к сигарете.

В эту минуту Жюль возненавидел его: «Хоть бы оставил этот тон полицейского чиновника, такого многоопытного субъекта, которого не разжалобишь. Хоть бы не ломал комедию». Но вместе с тем ему хотелось выговориться — непреодолимая, теплая волна подхватила его и повлекла к откровенности.

— Причин — никаких.

— Вот это уже серьезнее, — бросил Жан.

— Ну, все зависит... — возразил Жюль.

Неприятный его тон сразу вывел Жана из роли бесстрастного психиатра; он встал, обогнул стол и, положив руку на плечо Жюль, ласково забормотал: «Ну ничего, ничего, старик», и от этого у Жюль, к великому его ужасу, на глазах выступили слезы. Решительно он никуда не годится. Он протянул руку, взял со стола шариковую ручку и, нажимая на головку, принялся сосредоточенно выдвигать и убирать стержень.

— Что же у тебя не ладится, старик? — спросил Жан. — Может, ты болен?

— Нет, не болен. Просто мне ничего на свете не хочется, вот и все. Кажется, модная болезнь, да?

Он даже попытался ухмыльнуться. Но, в сущности, ему отнюдь не было легче от того, что его душевное состояние оказалось явлением распространенным и официально признанным во врачебном мире. Скорее было даже обидно. Раз уж на то пошло, он предпочел бы считаться «редким случаем».

— Так вот, — с усилием заговорил он. — Мне больше вообще ничего не хочется. Не хочется работать, не хочется любить, не хочется двигаться — только бы лежать в постели целыми днями одному, укрывшись с головой одеялом. Я...

— А ты пробовал?

— Конечно. Хватало ненадолго. К девяти часам вечера меня уже тянуло покончить с собой. Простыни и подушки казались мне грязными, мой собственный запах — омерзительным, обычные мои сигареты — просто гадостью. Это, по-твоему, в порядке вещей?

Жан буркнул что-то невнятное: эти подробности, указывавшие на психический надлом, коробили его больше, чем любые непристойные подробности, и он в последний раз попытался найти логическое объяснение.

— А как с Элоизой?